

*Посвящается Луи Буланже,
художнику*

I

ПЕРВЫЕ ОШИБКИ

В начале апреля 1813 года выдалось воскресное утро, сулившее чудесный день. В такой день парижане впервые после зимней непогоды видят сухие мостовые и безоблачное небо. Около полудня изящный кабриолет, запряженный парой резвых лошадей, свернул с улицы Кастильоне на улицу Риволи и остановился за вереницей экипажей, у решетки, недавно возведенной возле площадки Фельянов. Правил этой легонькой коляской человек, лицо которого носило печать забот и недуга; просесть в волосах, уже редких на темени, отливавшем желтизною, раньше времени старила его; он бросил повод верховому лакею, сопровождавшему коляску, и сошел, чтобы помочь спуститься прехорошенькой девушке, которая сразу привлекла внимание праздных зрителей. Девушка, ступив на край коляски, обвила руками шею своего спутника, и он перенес ее на тротуар так бережно, что даже не помял отделку на ее зеленом репсовом платье. Влюбленный и тот не проявил бы такой заботливости. Незнакомец, очевидно, был отцом девушки; не поблагодарив, она непринужденно взяла его под руку и порывисто повлекла в сад. Старик за-

метил, с каким восхищением смотрят молодые люди на его дочь, и грусть, омрачавшая его лицо, на миг исчезла. Он улыбнулся, хотя уже давно вступил в тот возраст, когда приходится довольствоваться одними лишь призрачными радостями, доставляемыми тщеславием.

— Все думают, что ты моя жена, — шепнул он на ухо девушке и, выпрямившись, зашагал еще медленнее, что привело ее в отчаяние.

Он, видимо, гордился своей дочкой, и его, пожалуй, даже более, чем ее, тешили взоры мужчин, скользившие украдкой по ее ножкам в темно-коричневых прюнелевых туфельках, по хрупкой фигурке, которую облегал изящное платье с вставкой, и по свежей шейке, выступавшей из вышитого воротничка. Поступь девушки была стремительна, оборки ее платья то и дело взлетали, на миг показывая округлую линию точеной ноги в ажурном шелковом чулке. И не один франт обогнал эту чету, чтобы полюбоваться девушкой, чтобы еще раз взглянуть на юное личико в рамке разметавшихся темных кудрей; оно казалось еще белее, еще румянее в отсветах розового атласа, которым был подбит ее модный капор, а отчасти и от того страстного нетерпения, которым дышали все черты прелестного лица. Милое лукавство оживляло прекрасные черные глаза ее — глаза с миндалевидным разрезом и красиво изогнутыми бровями, осененные длинными ресницами и блестящие влажным блеском. Жизнь и молодость выставляли напоказ свои сокровища, будто воплощенные в этом своенравном личике и в этом стане, таком стройном, несмотря на пояс, повязанный по тогдашней моде под са-

мой грудью. Девушка, не обращая внимания на поклонников, с какой-то тревогой смотрела на дворец Тюильри — разумеется, к нему-то и влекло ее так неудержимо. Было без четверти двенадцать. Час был ранний, но множество женщин, стремившихся ослепить всех своими нарядами, уже возвращались от дворца, то и дело оборачиваясь с недовольным видом, точно они раскаивались, что опоздали, что не удастся им насладиться зрелищем, которое так хотелось видеть. Прекрасная незнакомка подхватила на лету несколько замечаний, с досадою оброненных разряженными дамами, и они почему-то очень взволновали ее. Старик следил скорее проницательным, нежели насмешливым взглядом за тем, как выражение страха и нетерпения сменяется на милом личике его дочери, и, пожалуй, даже чересчур пристально наблюдал за нею: в этом сквозила затаенная отцовская тревога.

То было тринадцатое воскресенье в 1813 году. Через день Наполеон отправлялся в тот роковой поход, во время которого ему суждено было потерять Бесьера, а за ним — Дюрока, выиграть достопамятные битвы при Люцене и Бауцене, увидеть, что его предали Австрия, Саксония, Бавария, Бернадотт, и упорно защищаться в жестоком сражении под Лейпцигом. Блестящему параду под командованием императора суждено было стать последним в череде парадов, так долго приводивших в восхищение парижан и чужеземцев. Старая гвардия в последний раз собиралась показать искусство маневров, великолепие и точность которых иной раз изумляли даже самого исполина, готовившегося в те дни к поединку с Европой. Нарядную и любопытную толпу привле-

кало в Тюильри грустное чувство. Каждый словно предугадывал будущее и, быть может, предвидел, что не раз воображение воспроизведет в памяти всю эту картину, когда героические времена Франции приобретут, как это случилось ныне, почти легендарный оттенок.

— Ну, пойдете же скорее, папенька! — бойко говорила девушка, увлекая за собой старика. — Слышите: бьют в барабаны.

— Войска входят в Тюильри, — отвечал он.

— Или уже прошли церемониальным маршем!.. Все уже возвращаются! — промолвила она тоном обиженного ребенка, и старик улыбнулся.

— Парад начнется лишь в половине первого, — заметил он, еле поспевая за неугомонной дочкой.

Если бы вы видели, как девушка взмахивала правой рукой, то сказали бы, что она помогает себе бежать. Ее маленькая ручка, затянутая в перчатку, нетерпеливо комкала носовой платок и напоминала весло, рассекающее волны. Старик порою улыбался, но иногда его изможденное лицо становилось хмурым и озабоченным. Из любви к этому прекрасному созданию он не только радовался настоящему, но и страшился будущего. Он словно говорил себе: «Нынче она счастлива, будет ли она счастлива всегда?» Старики вообще склонны награждать своими горестями будущее людей молодых. Отец и дочка вошли под перистиль павильона, по которому снуют гуляющие, проходя из Тюильрийского сада на площадь Карусели, и здесь, у павильона, в тот час украшенного развевавшимся трехцветным флагом, они услышали суровый окрик часовых:

— Проход закрыт!

Девушка поднялась на цыпочки, и ей удалось мельком увидеть лишь толпу нарядных женщин, расположившихся вдоль старинной мраморной аркады, откуда должен был появиться император.

— Вот видите, отец, мы опоздали!

Губы у нее горестно сжались — было ясно, что для нее очень важно присутствовать на параде.

— Что ж, вернемся, Жюли; ты ведь не любишь давки.

— Останемся, папенька! Я хоть посмотрю на императора, а то, если он погибнет в походе, я так его и не увижу.

Старик вздрогнул при этих словах, полных эгоизма; в голосе девушки слышались слезы; он взглянул на нее, и ему показалось, что под ее опущенными ресницами блеснули слезинки, вызванные не столько досадою, сколько теми первыми печальями, тайну которых нетрудно бывает постичь старику отцу. Вдруг Жюли вспыхнула, и из груди ее вырвалось восклицание, смысл которого не поняли ни часовые, ни старик. Какой-то офицер, бежавший к дворцовой лестнице, услышав этот возглас, с живостью обернулся, подошел к садовой ограде, узнал девушку, на миг заслоненную большими медвежьими шапками гренадеров, и тотчас же отменил для нее и для ее отца приказ, запрещающий проход, — приказ, который сам и отдал; затем, не обращая внимания на ропот нарядной толпы, осаждавшей аркаду, он нежно привлек к себе просиявшую девушку.

— Теперь меня не удивляет, почему она так сердилась и так спешила, — оказывается, ты на дежурстве, — сказал старик офицеру полушутя-полусерьезно.

— Сударь, — отвечал молодой человек, — если вам угодно расположиться поудобнее, не стоит терять времени на разговоры. Император ждать не любит; все готово, и фельдмаршал поручил мне доложить об этом его величеству.

Говоря так, он с дружеской непринужденностью взял Жюли под руку и быстро повел к площади Карусели. Жюли с удивлением увидела, что густая толпа затопила все небольшое пространство меж серыми стенами дворца и тумбами, соединенными цепями, которые начертили посреди двора Тюильри огромные квадраты, посыпанные песком. Кордону часовых, охранявшему путь императора и его штаба, было нелегко устоять под натиском нетерпеливой толпы, жужжавшей словно пчелиный рой.

— Будет очень красиво, не правда ли? — спросила Жюли, улыбаясь.

— Осторожнее! — крикнул офицер и, обхватив девушку своей сильной рукой, быстро приподнял ее и перенес к колонне.

Если б офицер не проявил такой стремительности, его любопытную родственницу сбил бы с ног, подавшись назад, белый конь под зеленым бархатным чепраком, затканном золотом; его держал под уздцы наполеоновский мамелюк почти у самой арки, шагах в десяти позади лошадей, оседланных для высокопоставленных офицеров из свиты императора. Молодой человек нашел место отцу и дочери у первой тумбы справа, напротив толпы, и кивком поручил их двум старым гренадерам, между которыми они очутились. Офицер шел во дворец со счастливым и радостным видом, с его лица исчезло испуганное выражение, появившееся на нем, когда конь

стал на дыбы. Жюли украдкой пожала ему руку — то ли в знак благодарности за услугу, которую он только что оказал ей, то ли словно говоря ему: «Наконец-то я вас вижу!» Она слегка склонила голову в ответ на почтительный поклон, который отвесил офицер ей и ее отцу, перед тем как уйти. Старик, очевидно, нарочно оставивший молодых людей, все стоял с задумчивым и строгим видом чуть позади дочери; он тайком наблюдал за нею, хоть и старался не смущать ее, прикидываясь, будто всецело поглощен тем великолепным зрелищем, которое представляла собою площадь Карусели. Когда Жюли взглянула на отца, словно школьница, робеющая перед учителем, старик ответил ей добродушной и веселой улыбкой; однако он не спускал сверлящего взгляда с офицера, пока тот не исчез за аркадой, — ни одна мелочь в этой короткой сценке не ускользнула от него.

— Как красиво! — вполголоса промолвила Жюли, пожимая руку отца.

Действительно, площадь Карусели являла собою в тот миг живописную и величественную картину, и из тысячеустой толпы зрителей, лица которых выражали восхищение, вырвалось такое же восклицание. Люди теснились и там, где стоял старик с дочерью, и напротив них, на узкой полосе мостовой вдоль решетки, отделяющей Тюильри от площади Карусели. Толпа, пестревшая женскими нарядами, казалась яркой каймой по краям огромного четырехугольника, вырисованного дворцовыми зданиями и недавно возведенной решеткой. Полки старой гвардии, готовые к смотру, заполняли все это обширное пространство и были построены прямо против дворца голубыми широкими линиями в десять рядов. По ту

сторону ограды и на площади Карусели параллельно им в линейку стояло несколько пехотных и кавалерийских полков, которые должны были пройти церемониальным маршем под триумфальной аркой, воздвигнутой на самой середине решетки; на верхушке арки в те времена виднелись великолепные кони, вывезенные из Венеции. Полковые оркестры, расположенные у Луврской галереи, были заслонены отрядом польских улан. Почти вся обширная четырехугольная площадь, засыпанная песком, была пуста; она предназначалась для безмолвного передвижения войск, симметрично построенных по всем правилам военного искусства; солнечные зайчики отражались и вспыхивали огнями в десяти тысячах трехгранных штыков. Султаны на солдатских касках, колыхаясь по ветру, клонились, будто лес под порывами урагана. Безмолвные яркие шеренги старых вояк радовали взор великим множеством всевозможных цветов и оттенков, ибо различны были мундиры, выпушки, аксельбанты и оружие. Эта необъятная картина, во всех своих деталях, во всем своем своеобразии представлявшая собою в миниатюре поле битвы перед сражением, была живописно обрамлена высокими, величественными зданиями, неподвижности которых, казалось, подражали и офицеры и солдаты. Зритель невольно сравнивал стены, словно возведенные из людей, со стенами, возведенными из камня. Солнце, щедро лившее свет на белые стены, отстроенные недавно, и на стены, простоявшие века, ярко освещало несметные ряды выразительных смуглых лиц, которые безмолвно повествовали об опасностях минувших, о стойком ожидании опасностей грядущих. Одни лишь командиры прохаживались

перед своими полками, состоявшими из испытанных воинов. А дальше, позади войсковых соединений, сверкавших серебром и золотом, отливавших лазурью и пурпуром, любопытные могли заметить трехцветные флажки на пиках шести неутомимых польских кавалеристов, которые, подобно сторожевым псам, что бегают вокруг стада на выгонах, без передышки скакали меж войсками и зрителями, не позволяя посторонним переступить узкую полосу, отведенную для публики перед дворцовой решеткой. Не будь их, вы бы, пожалуй, вообразили, что очутились во владениях спящей красавицы. Под вешним ветром шевелился длинный ворс на меховых шапках гренадеров, и это подчеркивало неподвижность солдат, а глухой рокот толпы делал их молчание еще строже. Порою звенели колокольчики в оркестре да гудел случайно задетый турецкий барабан, и эти звуки, отдавшись глухим эхом в императорском дворце, напоминали отдаленные громовые раскаты, предвещающие грозу. Что-то неопишимо восторженное чувствовалось в ожидании толпы. Франция готовилась к прощанию с Наполеоном накануне кампании, опасность которой предвидел каждый. На этот раз дело шло о самой Французской империи, о том, быть ей или не быть. Мысль эта, казалось, волновала и штатских и военных, волновала всю толпу, в молчании теснившуюся на клочке земли, над которым реяли наполеоновские знамена и его гений. Солдаты эти — оплот Франции, последняя капля ее крови — вызывали тревожное любопытство зрителей. Большинство горожан и воинов, быть может, прощались навеки; но все сердца, даже полные вражды к императору, обращали к нему горячие мольбы о славе